

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ
МАРИЯ МЕТЛИЦКАЯ
ИРИНА МУРАВЬЁВА
ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ
ЮРИЙ БУЙДА
и другие

ЛЮБОВЬ,

или Мой дом



**Максим Игоревич Лаврентьев
Ариадна Валентиновна Борисова
Ирина Лазаревна Муравьева
Мария Метлицкая
Юрий Васильевич Буйда
Любовь, или Мой дом (сборник)
Серия «Рассказы о самом важном»**

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17206263

Любовь, или Мой дом : сборник рассказов и повестей: 978-5-699-86009-8; Москва; 2016

ISBN 978-5-699-86009-8

Аннотация

Дом для человека – это не просто стены. Это прежде всего образ жизни, отраженный в деталях быта. Дом знает больше, чем мы, и помнит не только людей – их привычки, походку, дыхание, – он помнит их боль так же, как и их радость. Дом – наш летописец.

Все рассказы, входящие в этот сборник, совершенно разные, потому что дом у каждого свой. А что такое дом для вас?..

Содержание

Предисловие	5
Юрий Буйда	7
Конец ознакомительного фрагмента.	31

**Юрий Буйда, Ирина Муравьева,
Ариадна Борисова, Марина
Метлицкая, Максим Лаврентьев
Любовь, или Мой дом (сборник)**

© Муравьева И., Буйда Ю., Борисова А., Метлицкая М., Лаврентьев М.,
2016

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

Предисловие

Есть ли что-то страшнее, чем полное безразличие одного человека к другому? *«Не дай мне Бог сойти с ума»*, – писал Пушкин, приравнивая безумие к абсолютному отторжению ото всего, что важно и дорого душе. *«...и я глядел бы, счастья полн, в пустые небеса...»* Небеса могут оказаться «пустыми» только в одном случае: если здесь, на земле, оборвались все нити сочувствия, разрушились точки опоры людей друг на друга.

Никого не будет в доме, кроме сумерек, один

Зимний день в сквозном проёме

Незадернутых гардин.

Дом может быть разным, любым: одиноким, ледяным, мертвым, сумасшедшим, – уж тут как кому повезет, – но потеря дома погружает человека в первобытный хаос:

Но где мой дом и где рассудок мой?

Дом и рассудок уравниваются в своей первичной ценности. Психея, душа, располагается в теле человека, цепляясь за кров и защиту. И тело становится домом души. Да, временным, но очень важным. «История, – утверждал Лотман, – проходит через Дом человека, через его частную жизнь». Но тут возникает простейший вопрос: что такое история? Не перечень ведь вечно спорных вопросов и наспех подобранных фактов? Да нет, разумеется. История – это подводы Ростовых, из которых с восторгом единственно верного решения выбрасывается семейное добро и на освободившееся место укладываются раненые, это чеченские набеги на деревню, где поселяется Печорин, это Пушкин, рисующий на полях виселицу и подписывающий рисунок: «и я бы мог, как шут, висеть...»

Давайте признаемся: все понятия, так или иначе окрашенные общественным пафосом, то есть история, прогресс, достижения науки, борьба «за» и борьба «против», тускнеют и отдают тошнотворным запахом мертвечины, если они оказываются в одной плоскости с понятием «дом». Они – холодны, неуверенны, шатки, он – полон тепла, долгожданен и прочен. Но если он: «мертвый», как у Достоевского? А если и впрямь: «ледяной», как на шутовской свадьбе, устроенной в 1740 году императрицей Анной Иоанновной? А есть еще дом – сумасшедший, «дом скорби», в котором Мастер, сидя на подоконнике, залитом луною, беседует с бедным поэтом Бездомным. Да, дом бесконечен в своих проявлениях. И его так же не выбирают, как не выбирают родителей. Дом – это судьба. А кто обещал, что судьба будет легкой?

– Мне надо привести в порядок мой дом... – сказал умирающий Пушкин.

Но дом, как судьба, может и отомстить, а путь к нему может стать тропкой отчаянья:

...и мы в отчаянье пришли, – с категоричностью последнего, самого глубокого откровения, писал Георгий Иванов, и тут же его закружило, слова полились с убежденностью страсти: *В отчаянье, в приют последний, как будто мы пришли зимой с вечерни в церковке соседней по снегу русскому домой.*

Приятие дома, каким бы он ни был, есть приятие собственной участи, а это даётся не каждому. Нельзя бунтовать против участи, нельзя бунтовать против дома. Он – выше тебя, знает больше, чем ты, и помнит не только людей – их привычки, походку, дыхание, – он помнит их боль так же, как и их радость. Дом – наш летописец.

Во времена, когда дому грозит быть сметенным с лица земли, на помощь ему призываются силы особой защиты. У Булгакова дом Турбиных защищен своей «сказочностью», своей непридуманной «поэтичностью», своим «волшебством». Быт дома, – в котором часы играют гавот, на печных изразцах остались следы вишневого сока, а шкафы с книгами пахнут шоколадом, – поднимается до высоты бытия, и Алексей Турбин понимает, что воевать

он будет не за абстрактные и весьма запутанные идеалы человечества, а только за этот очаг, за эту свою изразцовую печку.

Теперь о любви. Хотя говоря о тепле, противопоставленном хаосу, «вечному странствию», – о тепле, защищающем человека внутри его дома, я ведь говорила о ней. Не бывает тепла без любви, и защита не действует, когда её нет. Маргарита, живущая в одном из самых уютных московских особняков, с человеком, который, как говорит Булгаков, «обожал свою жену», не только не счастлива, но еще глубже: она уже – жертва своей нелюбви, и дом её не защитит и не спрячет: «С тех пор, как девятнадцатилетней она вышла замуж и попала в особняк, она не знала счастья».

Жизнь разрушает границы. Она их ломает. Ей трудно, как ветру в лесу, удержаться внутри *только* этих деревьев, он – ветер – бросается в реку и в поле, ему так вольнее. Мы живем во времена, когда «народы», как говорили в старину, испытывают сильную тягу к географическим перемещениям. То, что было уделом единиц, стало действительностью миллионов. И дом тоже сдвинулся с места, теперь он подобен той крохотной раковине, которую тащит улитка. Пусть тащит. Любовь существует внутри. Вот и всё.

Ирина Муравьева

Юрий Буйда

Яд и мед

И ничего уже не будет проклятого.
Откровение, 22:3

Этот дом был построен в начале 90-х годов XIX века, еще при жизни Александра III Миротворца. Купец-миллионер, ситцевый фабрикант, купил земли неподалеку от Москвы, здесь, на Жуковой Горе, и возвел этот роскошный особняк для своей любовницы – актрисы императорских театров. Дом на высоком холме, с которого открывался замечательный вид на речную пойму. Хорошо прокаленный красный кирпич, звонкая сосна, стройные беленые колонны у входа, пышногрудые и широкобедрые музы на фризе, напоминающие разгульных вакханок, французские окна с зеркальными стеклами, кокетливые башенки с зубцами, крыша из черной аспидной черепицы, которая сверкала на солнце, как россыпь драгоценных камней...

Но жизнь в этом доме не заладилась с самого начала. Легкомысленная актриса вскоре влюбилась в рокового поэта, фабрикант застрелил ее и был сослан на Сахалин, в каторгу, его наследники стали сдавать особняк в аренду, а вокруг построили несколько десятков двухэтажных домиков под сдачу внаем. Так началась история дачного поселка Жукова Гора.

Этот дом повидал много разных людей – блестящих гвардейских офицеров и их блестящих любовников, известных живописцев и именитых писателей, бритоголовых советских маршалов и мускулистых гражданеток в кумачовых платочках, много их было – молодых и усталых, полных надежды и убитых горем, с бокалом шампанского в руке и в наручниках...

Этот дом хранил память обо всех этих людях – шепоты и крики, запахи плоти, вина и крови, горячего воска и горелого пороха, ненависти и страха, хранил старинные тени в зеленоватой глубине высоких зеркал...

Иконы сменялись портретами – сначала Чернышевского, Льва Толстого и Леонида Андреева, затем – Ленина, Кропоткина и Троцкого, а потом – Сталина, которые с каждым годом становились больше, больше и больше. Под этим портретом хозяева праздновали новоселья и на этот портрет бросали последний взгляд, когда их уводили из дома навсегда...

В середине тридцатых здесь поселился генерал Осорьин с семьей.

Дмитрий Николаевич Осорьин принадлежал к старинному княжескому роду. Впервые князя Осорьины упомянуты в русских летописях в 1255 году, когда один из них остановил вторжение литовцев, разгромил их и прошелся по литовским городам и деревням, не оставляя после себя в живых даже собаки, которая могла бы лаять ему вслед. Род Осорьиных обеднел при Иване Грозном и поднялся при Петре Великом. А в 1805 году в битве под Аустерлицем подполковник Осорьин со своим батальоном несколько часов сдерживал натиск кавалерии Мюрата, прикрывая отступление русской армии. Шестьсот пехотинцев, выстроившись в каре, отбили двенадцать атак французской конницы. Невзирая на ранение в плечо, князь Осорьин так и не переложил шпагу в левую руку, а его голос перекрывал шум сражения: «Держать строй! Держать строй!» Семеро солдат, знаменосец и командир – вот и все, что осталось от батальона, не сдавшего позиций. Когда Наполеон назвал истекавшего кровью Осорьина «храбрецом» и «безумцем», тот возразил: «Я только держал строй, ваше величество. Держал строй». По возвращении домой князю Осорьину именным указом было разрешено начертать на фамильном гербе девиз, который остался в истории: «Держать строй!»

Дмитрий Осорьин был одним из двухсот генералов царской армии, которые после октября 17-го перешли на сторону большевиков. Он преподавал в Академии Генерального штаба РККА. От первого брака у него было двое сыновей, от второго – две дочери. Он умер от болезни сердца вскоре после второй германской войны, пережив сыновей-офицеров, которые в годы Большого террора были расстреляны как враги народа, шпионы и заговорщики.

Весной 53-го из гостиной убрали портрет Сталина, и больше никогда в доме на холме и в других домах никаких портретов на стены не вешали, потому что любой портрет на стене в гостиной напоминал о том самом портрете.

Наступили спокойные времена.

Великие маршалы перестали брить голову и засели за мемуары, а летними вечерами пили чай на веранде, любуясь закатом. Великие писатели собирали вокруг самовара гостей, чтобы почитать главы из новых романов. Великие актеры разучивали роли в новых пьесах, в которых истина была сильнее правды. Великие старухи гуляли с собачками, перебирали драгоценности в шкатулках и засыпали в уютных креслах с котенком на коленях.

В осорьинском доме дважды в день, в одно и то же время, раздавался веселый крик: «Соль на столе!» – и все его обитатели стекались в столовую. И если раньше Осорьинных называли «бывшими», то теперь все чаще – «всегдашними».

На Жукову Гору вернулась великая русская скука.

Люди перестали бояться ночи. Подрастали дети и внуки. Под огромным *болконским* дубом, который рос неподалеку от осорьинского дома, назначали встречи влюбленные. Старики обсуждали свои болезни или новых соседей, хотя новые соседи появлялись здесь очень редко: поселок Жукова Гора стал заповедником для избранных, для элиты, и попасть сюда было непросто.

Наступление новых времен мало что тут изменило, разве что цены на здешнюю недвижимость взлетели до небес. Новые богачи, которым все же удалось купить несколько домов на Жуковой Горе, беспрекословно принимали заведенные здесь порядки и не нарушали спокойного течения жизни. Правда, они еще не научились любоваться закатами, обсуждать свои болезни и не тревожиться о будущем, но это – это дело наживное.

И еще они не научились скрывать зависти, когда речь заходила о доме Осорьинных, о доме на холме – хорошо прокаленный красный кирпич, звонкая сосна, стройные беленые колонны у входа, пышногрудые вакханки на фризе, французские окна с зеркальными стеклами, кокетливые башенки с зубцами, крыша из черной аспидной черепицы, которая сверкала на солнце, как россыпь драгоценных камней, – не дом, а мечта, и эту мечту, конечно, можно купить за деньги, но завладеть ею по-настоящему – нет, нельзя, как нельзя завладеть чужой тенью: дух дышит *только там*, где хочет...

Лето я проводил у дедушки с бабушкой, в Нижних Домах. Эти одинаковые коттеджи были построены при Сталине, когда Жукова Гора стала режимным объектом. Поселок обнесли надежной оградой, устроили правильное водоснабжение и канализацию, у ворот поставили охрану, а в низине, отделенной от реки Болтовни невысокой дамбой, построили дома, в которых поселились садовники, столяры, слесари, сторожа и прочий обслуживающий персонал.

Мой дед Семен Семенович Постников был фельдшером, но на Жуковой Горе все называли его доктором. Днем доктор Постников принимал больных в амбулатории, а вечером складывал в пухлый кожаный баул инструменты, пузырьки, ампулы и отправлялся «с визитами» – ставить уколы пациентам, а чаще – пациенткам. Иногда он брал с собой меня. Так благодаря деду я впервые попал в дом на холме, который все в поселке называли Домом двенадцати ангелов – из-за двенадцати ржавых флюгеров, которые напоминали крылатых ангелов и вращались на ветру, издавая негромкое, но грозное гудение.

Мне было пять или шесть лет, когда я переступил порог этого дома – он поразил меня с первого взгляда. Холл с черным мраморным полом и белыми колоннами, между которыми стояли статуи нагих женщин; просторная гостиная, выходившая окнами на речную пойму и украшенная огромным роялем; люстры, каскадами ниспадавшие с потолков; широкие вазы с цветами, источавшими головокружительные запахи, которые смешивались с запахами хвойной мастики; напольные часы с золочеными маятниками; мужчины в париках и женщины в юбках-колоколах – они взирали на меня с портретов, развешанных по стенам...

Я подошел к картине, на которой была изображена обнаженная женщина, лежавшая спиной к зрителю. У нее были широкие бедра, узкая талия и густые огненно-рыжие волосы. В зеркале, которое она держала перед собой, отражалось ее лицо с острым носом и пронзительно-голубыми глазами.

– Самая красивая в мире задница, – сказал со вздохом дед, положив руку на мое плечо. – Венера.

Спустя несколько дней эта Венера пригласила нас на чай. Я уже знал, что ее зовут Татьяной Дмитриевной, но все называют ее Тати, с ударением на последнем слоге.

Мы ждали ее в столовой.

За минуту до того, как часы пробили пять, в столовую вбежала миловидная женщина в белом кружевном фартучке, которая заняла место за креслом с высокой спинкой. Эту женщину дед называл Дашей. Она открывала дверь, когда мы приходили с визитом, и угощала меня печеньем, пока доктор Постников ставил уколы хозяйке. Даша была живой, говорливой и улыбчивой, но на этот раз ее лицо, фигура, поза выражали только достоинство и почтительность.

С боем часов в комнату вошли вразвалку два черных датских дога – два огромных исчадия ада, отливавшие синевой. Они неспешно подошли к Даше и легли на полу по обеим сторонам кресла. Эти мрачные великаны носили имена Ганнибал и Катон. За ними вбежали болонки – Миньон и Мизер, чистые, кудрявые и веселые, которые прыгнули на узкую козетку, стоявшую у стены, и сели, нетерпеливо переступая с лапы на лапу.

Наконец послышалось шуршание, позвякивание, дверной проем озарился оранжевым светом, и в столовую вплыла Тати. Умопомрачительная шляпа с широченными полями и островерхой тульей, красная шелковая жилетка – позументы, цепочки, сверкающие камешки и монетки, шелковая же блузка цвета палой листвы, бордовая юбка из тяжелой парчи, густо расшитая золотой и серебряной канителью, бархатные туфли на низком каблуке. Но больше всего меня поразило ее лицо – оно было почти ужасным, оно было почти уродливым, оно было странным, однако я не мог оторвать от него взгляда. Слишком длинный и слишком острый нос, слишком маленькие круглые глаза навывкате, слишком большой рот, который от яркой помады казался еще больше, слишком бугристая кожа лица... но это лицо – оно притягивало взгляд, пугало и завораживало...

Тати поздоровалась – у нее был низкий железный голос, сильный и скрипучий, и говорила она так, словно закрывала дверь за каждым словом, – прошествовала в конец стола и опустилась в кресло с высокой спинкой, а на стульях рядом с ней устроились ее придворные кошки – пышная и величественная София Августа Фредерика фон Анхальт-Цербстская, ленивая гладкая Дуняша и рыжая взъерошенная Дереза с узкими зелеными глазами...

Даша разлила чай в фарфоровые чашки и поставила передо мной блюдо с пирожным.

– Как тебя зовут? – спросила Тати, глядя на меня поверх чашки, поднесенной к губам. Но я не мог отвечать – на меня вдруг накатило. Я фыркнул.

Она вопросительно подняла бровь.

Я не смог удержаться.

– Самая красивая в мире задница, – едва выговорил я, давась смехом. – Ве... Венера...

– Картина в гостиной, – сказал дед. – Венера с зеркалом.

– Ага... – Тати строго посмотрела на меня, вдруг подмигнула и спросила своим железным голосом: – Ну и как тебе задница? Понравилась?

– Да, – растерянно ответил я.

– Семен, – сказал дед. – Его называли Семеном.

– У тебя есть вкус, Семен, – сказала Тати. – И чувство прекрасного.

Дед рассмеялся.

Когда часы пробили шесть, Тати встала, зазвенев всеми своими цепочками и монетами, и протянула деду руку. Он наклонился и поцеловал ее. Это было так необычно, что я утратил дар речи. Я боялся, что и меня заставят целовать эту змееобразную руку, эти острые пальцы, унизанные кольцами и перстнями, но – обошлось.

Вот таким и вошел этот дом в мое сознание: холл с черным полом, нагое мраморное женское плечо, выступающее из полумглы между колоннами, запахи цветов и хвойной мастики, лучшая в мире задница, остроносая женщина в ярких одеждах, восседающая на троне с сигаретой в змееобразной руке, окруженная собаками и кошками, луч заходящего солнца, пронзающий тонкую фарфоровую чашку, наполненную золотистым чаем, – образ порядка, форма подлинной жизни, таящаяся глубоко в душе и беспрестанно терзающая своей близостью и недостижимостью, воспоминание не столько яркое, сколько дорогое...

После того памятного чаепития Тати позволила мне бывать в ее доме и играть с двойняшками – Николашей и Борисом, ее племянниками.

Летом меня стригли под ноль, а братья ходили с локонами до плеч – Николаша с золотыми, Борис – с каштановыми. Николаша был выдумщиком и непоседой, а вот его брату всякий раз требовалась минута-другая, чтобы решить, стоит ли ввязываться в какую бы то ни было авантюру или нет, но уж если он ввязывался, то шел до конца, тогда как Николаша мог в любой миг остыть, наплевать на все и выйти из игры.

Мы забирались на чердак, где стояли окованные железными полосами сундуки, разошедшиеся комоды, мешки с ветхой одеждой и валялись негодные стулья и кресла. Был еще подвал – жутковатый, но скучный: тусклый свет, холод, запах подгнивающей картошки, пыльные винные бутылки на полках, бочки и кадуски. Мы выбирались на свет и затевали игру в прятки или войнушку в зарослях сирени или в сосняке, примыкавшем к ограде, за которой лежала речная пойма.

Еще мы следили за Сиротой.

Когда-то его приняли в этот дом истопником и вообще «на все случаи жизни». С годами он как будто сросся с домом и семьей Осорьиных. Всюду у него были устроены тайнички, в доме и во дворе, в которых была спрятана водочка. Никто Сироту всерьез не принимал. Попросят его принести чашку чая – по пути разобьет, а потом еще наврет, что это не он виноват, а какой-нибудь призрак, внезапно явившийся ему в темном коридоре, и будет стоять на своем, усугубляя вранье, пока совсем не заврется, и все это знали, но терпели, привыкли и даже уже и не представляли дома без этого старого шута горохового, от которого всегда пахло водкой, чесноком, дрянным табаком и напрасной жизнью. Впрочем, когда в доме случалась авария, только Сирота мог подсказать мастерам, где в одна тыща таком-то году прокладывали кабель и почему газовая труба изогнута таким замысловатым образом.

Убедившись в том, что за ним никто не наблюдает, Сирота доставал из тайничка бутылку, вытаскивал бумажную пробку, крестился, подмигивал псам – Ганнибалу и Катону, которые не спускали с него глаз, делал солидный плоток, нюхал кусочек сухаря, пришитый к внутренней стороне лацкана, и блаженно стонал, – и вот тут-то мы начинали кричать: «А я вижу! Вижу-вижу!»

Сирота топал ногами, грозил кулаком и лез в заросли жасмина, но нас там уже не было.

За флигелем, в котором жила домоправительница Даша с семьей, находился холм, поросший травой: когда-то это был винный погреб, а в те годы там жил отец домоправительницы, израненный на войне старик Татаринцов, глухой и одноногий, который выходил из своей берлоги только по ночам – скрип его деревянной ноги и надсадный кашель доносились аж до Нижних Домов.

Днем дверь в погреб стояла нараспашку, оттуда тянуло плесенью и махоркой, но заглядывать внутрь мы боялись: старик Татаринцов казался нам злым разбойником, который только и ждет, чтобы мальчишки оказались в его логове, и держит наготове для них булатный нож и котел с кипящей водой. Мы хором кричали: «Немцы! Немцы!» – и бросались со всех ног прочь.

Дочка домоправительницы Нинон говорила, что ее дед вовсе не разбойник и не людоед, а герой войны. Мы-то считали, что одно другого не исключает, но с Нинон не спорили. Она была голубоглазой, розовой, крепкой и легко забарывала меня и Николашу, уступая только Борису, который был и сильнее, и ловчее. С Нинон было приятно бороться: она была мягкой, и от нее так сладко пахло потом, яблоками и корицей...

Борис называл Нинон «каторжанкой» – правда, только за глаза.

В поселке многие считали, что Нинон – дочь Долотова, которого все называли Каторжанином. Это был огромный широкоплечий старик, костистый, с крупным рыхлым носом, революционер с дооктябрьским стажем, прошедший при царизме тюрьмы и каторгу. Он занимал видное положение и при Ленине, и при Сталине, и даже Хрущеву не удалось «задвинуть» Каторжанина, который считался «совестью партии», хотя все знали его как мерзкого бабника, насильника и растлителя малолетних. Летом он гулял по поселку в просторном полотняном костюме, в тюбетейке на бритой голове, с заложенными за спину руками, не глядя по сторонам, волоча за собой тяжелую тень. Завидев его, люди закрывали окна и двери. Когда-то Каторжанин без колебаний отправлял на Лубянку и Колыму тысячи людей, в том числе и соседей по Жуковой Горе, и теперь родные и близкие этих людей платили ему глухой ненавистью.

Помню, как стариков с Жуковой Горы одного за другим увозили – кого на Новодевичье кладбище, кого на Донское или Хованское. Маршалы, партийные деятели, министры, актеры, писатели... Их выносили под траурный марш Шопена, несли до ворот, где ждал катафалк, и там оркестр умолкал, оставляя после себя что-то вроде вакуума, медленно заполнявшегося голосами птиц, посвистом ветра, скрипом веток. И лишь однажды порядок был нарушен: когда выносили гроб с телом Каторжанина, оркестр вдруг заиграл «Вы жертвою пали», и это было так страшно и неожиданно, словно людям в лицо плеснули серной кислотой, и женщины от ужаса заплакали в голос, навзрыд...

Даши Татаринцовой среди этих женщин не было, но в день похорон Каторжанина она заперлась у себя и плакала.

Николаша и Борис были, в сущности, приемными сыновьями Тати. Ее родная сестра Ирина вместе с мужем Андреем погибла в авиакатастрофе, и мальчиков с двух лет воспитывала тетка. О матери они только и знали, что она была настоящей княжной – из рода князей Осорьиных. Вышла замуж за офицера-ракетчика, они переезжали с места на место, и по пути к очередному месту службы их самолет упал в непроходимой тайге. Спасатели добирались до места катастрофы неделю, сражаясь с беглыми каторжниками, медведями и тиграми. За это время свирепые сибирские комары обглодали трупы до костей.

Часто к нашей компании пристраивался Лерик, сын Тати, который был старше нас на два года. Пухлый, рыхлый, болезненный, он быстро уставал и обижался на нас до слез, потому что мы его не жалели и не признавали его старшинства. Часа через два после обеда во двор выходила Тати в бесстыжей юбчонке, мы помогали Сироте натянуть сетку, и начиналась игра в бадминтон – мы с братьями против Тати и Нинон. Лерик брал на себя судейство,

но мы входили в раж, судья нам был ни к черту, и Лерик с обиженной миной удалялся – устраивался в шезлонге неподалеку, открывал книжку и лишь изредка поглядывал на нас с презрительной улыбкой. Похоже, он считал себя аристократом, потому что мыл руки до похода в туалет, а не после, как это делали мы.

А потом на крыльце появлялась Даша, звала полдничать, и мы бежали на террасу, где нас ждало молоко с ванильным сахаром и маленькие свежие кексы, называвшиеся мадленками. Тати пила чай из фарфоровой чашки и курила сигарету, вставив ее в длинный мундштук, обвитый серебряными нитями.

Иногда к нам присоединялся генерал Замятин, с которым Тати жила после смерти мужа, отца Лерика. Замятина в доме все называли просто Генералом или дядей Сашей. Он был высоким крепким мужчиной с узким лицом, боксерским носом и густыми бровями. Генерал приносил стаканы с напитками для себя и Тати, закуривал сигару и разваливался в плетеном кресле, закинув ногу на ногу. Он был хорошим рассказчиком. От него мы узнали о Лохнесском чудовище и индийских йогах, насыщавшихся листьями с «дерева бедных», о рыцарях, которых сажали на коня при помощи подъемного крана, и о том, что ясной ночью в небе над Москвой можно разглядеть невооруженным глазом две с половиной тысячи звезд...

Тати с длинным мундштуком в змееобразной руке, Генерал в белоснежной рубашке, развалившийся в плетеном кресле, потные мальчишки с крошками кекса на губах, Нинон с растрепанными пшеничными волосами, прилипшими к гладкому розовому лбу, ее мать, задумчиво наматывающая локон на палец, столбы террасы, увитые воробьиным виноградом, летнее солнце, медленно опускающееся в густые кроны старых деревьев, синеватые датские доги, вдруг бесшумно возникающие на посыпанной гравием дорожке, звук колокола сельской церквушки, спрятавшейся за отлогими холмами, – у меня и сегодня сжимается сердце, когда я вспоминаю те дни, когда все мы были бессмертны...

Я учился в той же школе, что и братья Осорьины (десять лет спустя я узнал, что это стало возможно только благодаря протекции Тати). Это была школа «с уклоном», как тогда говорили, то есть там хорошо преподавали иностранные языки, хотя на самом деле там хорошо преподавали все. Николаша в школе блистал: в двенадцать лет он писал прекрасные стихи и был первым не только по литературе, но по истории и английскому. Борис был первым по всем предметам – учителя восхищались его упорством и трудолюбием. Вдобавок, ко всеобщему удивлению, он увлекся музыкой и стал заниматься с репетитором. Мне же приходилось прилагать немало усилий, чтобы держаться хотя бы чуть выше середины. Лерик был звездой школьного театра, и когда он кричал: «Карету мне, карету!», мы забывали о том, что он рохля и нюня, и вместе со всеми вскакивали и бешено аплодировали.

Виделись теперь мы реже, но летом – почти каждый день. Ходили купаться на речку, загорали на песчаных пятках в ивняках, мечтали о будущем и наперебой ухаживали за Нинон, которая, кажется, не знала, кому отдать предпочтение – блестящему Николаше или властному Борису, а потому целовалась с обоими, возвращаясь домой с распухшими губами, которые натирала сырым луком, чтобы мать ничего не заметила. Крупная, яркая, стройная, Нинон поражала ранней женственностью, и когда она шла с реки в одном купальнике, чуть покачивая сильными бедрами, мужчины провожали ее плотоядными взглядами.

Ужинали мы в кухне, а потом пробирались в гостиную, где часто собиралась большая шумная компания – писатели, музыканты, живописцы, актеры, молодые мужчины и женщины, фронтеры и диссиденты. Они говорили о Парижском мае и Пражской весне, о Солженицыне и сталинских лагерях, о «Бесах» и «Поэме без героя», о прошлом и будущем России...

Тати нравилось общество этих людей.

Помню, как она рассказала гостям о своем знакомстве со Сталиным, который однажды поздно вечером приехал проводить ее отца: Дмитрий Николаевич Осорьин в то время тяжело болел. Тати – тогда ей было шестнадцать – проснулась от шума, взяла свечу и вышла в коридор в чем мать родила, как вдруг из темноты появился Сталин. Тати остолбенела от страха. Сталин смерил ее взглядом с головы до ног, хмыкнул и сказал, обращаясь к свите:

– Вот настоящее оружие массового поражения, а вы все талдычите: бомба, бомба...

И задул свечу.

– И вы были без ничего? – спросил кто-то.

– Как это без ничего? – Тати снисходительно улыбнулась. – А сиськи?

Хохот, фыркание и аплодисменты.

Даша и Нинон то и дело подносили откупоренные бутылки, лилось вино, кто-то читал стихи, кто-то пел под гитару, а кто-то попросту лапал женщин.

Николаша упивался этой атмосферой, этими разговорами, а мы с Борисом вскоре ускользали, чтобы в каком-нибудь тихом уголке сыграть партию в шахматы. Борис всегда выигрывал.

Когда много лет спустя я спросил Тати, как генерал КГБ Замятин относился к этим ее гостям, она ответила: «Однажды Саша сказал мне, что он разведчик, а не стукач, и больше мы никогда не возвращались к этой теме».

После школы мы поступили в университет – Николаша с Борисом на юридический, а я – на филологический, на кафедру русской литературы.

Мы знали, что Николаша *пишет*, но когда несколько рассказов двадцатилетнего студента-третьекурсника опубликовали в «Новом мире», это стало настоящей сенсацией. Рассказы были мастерские, блестящие, с чертовщинкой – о Николаше заговорили как о будущей звезде русской литературы.

Вскоре Николаша женился на красавице Алине, студентке театрального училища, о которой, впрочем, Тати как-то сказала: «Бросается в глаза, но не врежется в память». У них родился сын, которого назвали Ильей.

Жизнь с холодной и капризной Алиной скоро наскучила Николаше. Он много писал, рвал написанное и снова писал, после обеда спал, вечером сидел в плетеном кресле на террасе, потягивая вино, а Нинон прижималась к нему горячим своим телом, иногда испуганно вскидывая голову, если ей слышались чьи-то шаги.

Через год Нинон родила мальчика, которого назвала Митей.

В доме все, конечно, знали о том, кто отец ребенка, но никогда не говорили об этом вслух.

«Только Бог имеет право называть вещи своими именами, – сказала как-то Тати. – Но зато нас Господь наградил чудесным даром умолчания, намека и вымысла».

Еще одним даром Господним – и осорьинским богатством – она считала двусмысленность и шаткое равновесие жизни. И вот это шаткое равновесие было нарушено.

Николаша опубликовал повесть – критики подвергли ее форменному разгрому, обвинив автора в беспомощности и вторичности, а его прозу – в жеманстве, манерности и искусственности. «Автор попытался компенсировать нехватку жизненного опыта мастерством, но жизнь и на этот раз одержала верх над искусством», – так витиевато выразился самый благожелательный из критиков.

Николаша запил. Каждый день он ссорился с Нинон и Алиной, избегал разговоров с Тати. На ночь устраивался в летней беседке, скрытой от посторонних глаз пышными кустами жасмина.

Тати поручила Сироте присматривать за племянником, и каждую ночь старик, сняв сапоги, на цыпочках пробирался к беседке, чтобы утром сокрушенно доложить хозяйке, сколько и чего выпил Николаша. Тати курила и угрюмо молчала.

Однажды утром Николаша не проснулся: передозировка метаквалона, который он принимал с вином.

На похоронах обугленные от горя Алина и Нинон рыдали, обнявшись, но на поминках законная вдова устроила скандал и выгнала из-за стола незаконную, и Борису пришлось на руках отнести бившуюся в истерике Алину наверх, в спальню. Нинон плакала в кухне, повторяя: «Это она его отравила... она-она-она...» Все знали, что метаквалонем Николашу снабжала жена.

Не прошло и года, как Борис и Алина поженились. Свадьба была скромной, тихой, без гостей, если не считать меня. Алина напилась. Борис пожал плечами, взял бутылку шампанского и отправился к Нинон, с которой и провел первую брачную ночь. Но их общий ребенок – Ксения – появился только через десять лет.

Еще студентом я помогал Тати разбирать архивы. Это было богатейшее – во всех смыслах – собрание писем, рукописей, дневников, картин, антиквариата. Все это досталось ей от мужей и любовников.

Ее первый муж был полковником, собравшим огромную коллекцию старинных вещей. Тати прожила с ним чуть больше года: полковника расстреляли в тот же день, что и его патрона Берию, а тело растворили в бочке с серной кислотой.

Оставшись одна после смерти отца, матери и мужа, Тати стала любовницей Ивана Тверитинова. Сегодня его называют предтечей новейшего абстракционизма, работы его продаются за огромные деньги на международных аукционах, а в те годы экстравагантный художник зарабатывал на жизнь рисованием вывесок. Тати свела его со знатоками, в том числе с иностранцами, которые время от времени покупали у Тверитинова картины.

«У него я многому научилась, – сказала мне однажды Тати, – но по духу он был бродягой, а я жить не могла без этого дома».

После трагической гибели Тверитинова любовница перевезла все его работы на Жукову Гору, а его мастерскую – сарай на пустыре – сожгла, как и завещал художник.

На похоронах Тверитинова она встретила Константина Тарханова, одного из руководителей Союза писателей. Он стал первой ее любовью, а она – его последней.

Когда-то портреты Тарханова висели во всех библиотеках и школах: он был автором романов о революции и Гражданской войне, которые советская критика признавала классическими. Когда началась сталинская унификация жизни, Тарханов возглавил Союз писателей и практически отошел от творчества. Он был широким человеком: с трибуны призывал к расправе над Ахматовой, Пастернаком, Зощенко, Платоновым, а потом помогал опальным писателям деньгами, а то и спасал от лагерей и расстрела. После смерти Сталина, после Двадцатого съезда положение его пошатнулось. Он пил и менял женщин, пытаясь спастись от растущего одиночества. Встреча с Тати на время вернула его к жизни.

«Это была страсть, – вспоминала Тати. – Настоящая страсть, которая переросла в настоящую любовь».

От Тарханова она и родила Лерика.

Счастье их, впрочем, продолжалось недолго: Тарханов вскоре окончательно спился и застрелился, будучи не в силах выдержать ненависти коллег, обвинявших его в том, что в годы Большого террора он был причастен к гибели сотен безвинных людей – литераторов, их жен и детей.

Тати знала, что Тарханов всю жизнь собирал письма и рукописи писателей, но и вообразить не могла, какие сокровища хранились в его архиве. Это были письма и черновики Пушкина и Грибоедова, Достоевского и Лескова, Блока и Шолохова, Платонова и Пастернака. Можно было только гадать о том, какими путями в этот архив попали личные бумаги Вольтера, Диккенса, Гарибальди, Оскара Уайльда, Рембо, Рильке, Джойса и Селина.

Тати вела переписку с университетами, библиотеками, галереями, аукционными домами, исследователями, которые хотели получить доступ к ее бесценному архиву, дарила или продавала некоторые материалы, следила за публикациями, вела судебные тяжбы.

Это была нелегкая рутинная работа, и Тати то и дело звала меня на помощь. Уже тогда, в советские годы, мой словарь обогатился такими понятиями, как лот, эстимейт и ргисе-fixing. В конце концов, узнав о крахе моего второго брака, она предложила мне стать ее секретарем и перебраться на Жукову Горю, «под руку».

К тому времени Тати похоронила Генерала, с которым прожила более двадцати лет. Иногда он исчезал на несколько месяцев, однажды его не было полтора года. И всякий раз Тати терпеливо ждала его – ждала, когда у ворот остановится его машина, чтобы выйти на крыльцо, как ни в чем не бывало поцеловать своего Сашу напомаженными губами в душистую щеку, затянуться сигаретой, вставленной в длинный мундштук с серебряными нитями, и проговорить: «Соль на столе, дружок» – проговорить в своей обычной манере, так, словно закрывала дверь за каждым словом, а ночью поорать всласть в объятиях своего ненасытного любовника.

На его похоронах она была невозмутима: «При чужих не плачут».

В последние годы жизни Генерал возглавлял международную консалтинговую компанию, и к его услугам часто прибегали видные бизнесмены и политики. Незадолго до смерти он попросил Тати «присмотреть за девочкой» и привез на Жукову Горю пятилетнюю Лизу, у которой были красивые глаза, ядовитый язык и врожденный вывих бедра. Кажется, она была дочерью Замятина от одной из его жен, разбросанных по всему свету. Во всяком случае, поначалу девочка говорила по-английски гораздо лучше, чем по-русски. В доме шептались, что Генерал оставил девочке огромное состояние, которым, однако, она сможет распоряжаться только после того, как выйдет замуж, но правда это или нет – никто, кроме Тати, не знал, а она молчала.

После смерти Генерала Тати несколько раз заводила любовников, но эти связи были непродолжительными. «Этих мужчин можно пригласить в постель, – говорила Тати, – но не за стол». А вскоре она и вовсе успокоилась: «От старой женщины пахнет не женщиной, а старухой. Таким запахом не торгуют». Пахло всегда от нее, впрочем, свежим табаком и чуть-чуть духами – ее любимым гиацинтом.

Память о прошлом была материализована и сосредоточена в «алтарной» – так в шутку стали называть небольшую комнату, примыкавшую к гостиной, где на столиках и комодах, в шкафчиках и коробках хранились семейные реликвии: ржавая железная перчатка, принадлежавшая князю Осорьину – победителю литовцев, грубоватый золотой перстень, снятый с руки князя Осорьина, казненного по приказу Ивана Грозного, двузубая вилка с гербом и еще несколько столовых приборов, которыми пользовался князь Осорьин – сподвижник Петра Великого, игральные кости князя Осорьина, павшего в битве под Гросс-Егерсдорфом, сабля подполковника Осорьина, ответившего Наполеону: «Я только держал строй, ваше величество. Держал строй», солдатская зажигалка, сделанная из патронной гильзы, с которой генерал Дмитрий Осорьин не расставался до самой смерти, курительная трубка Тарханова, несколько темных икон в серебряных окладах и, конечно, портреты – генералы, кавалергарды, сановники, епископы, монахи, отец и мать Тати, Тверитинов – в расстегнутой рубашке, с запяянной физиономией, Николаша, ослепительно улыбающийся в объектив...

Нинон следила за тем, чтобы в «алтарной» всегда был идеальный порядок. В памятные дни Тати и Нинон зажигали свечи перед портретами и ставили в вазы свежие цветы.

Жизнь в доме текла размеренно, без головокружительных взлетов и падений. И уже давно – без псов и кошек, которые отошли в мир иной – сначала Ганнибал, Миньон и величественная София Августа Фредерика фон Анхальт-Цербстская, за ними Катон и Мизер, потом ленивая гладкая Дуняша, наконец, рыжая зеленоглазая Дереза.

После завтрака я помогал Тати разбирать архив. Часа за полтора до обеда мы отправлялись вдвоем «на воздух». Это было нелегкое испытание для меня: Тати не любила чинных прогулок, шла быстрым шагом, выматывая спутника. До преклонных лет она почти каждый день летом гоняла на велосипеде, а зимой – на лыжах. После обеда все в доме отдыхали, потом пили чай, и мы с Тати снова принимались за дело. Чаще всего в это время мы составляли черновики писем, которые я на следующий день доводил до ума и относил на подпись Тати. По будням ужинали небольшой компанией – Тати, Алина, я, иногда к нам присоединялся Лерик. В субботу за столом собиралась вся семья – Тати, Борис, Алина, Илья, Лиза, Лерик, Нинон, Ксения, Сирота, Даша и я. Митя, сын Нинон, в наших застольях никогда не участвовал.

Жизнь изменилась сильно, гораздо сильнее, чем все эти люди.

Проработав несколько лет в прокуратуре, Борис перешел в крупную государственную нефтяную компанию, где вскоре стал вице-президентом, а потом занял важный пост в правительстве. Он остался все тем же – твердым, властным, красивым и неразговорчивым. Иногда по вечерам мы играли в шахматы – Борис, конечно, побеждал. Случалось, что после ужина он садился за рояль и подолгу играл – Брамса, Шопена, Листа. Компанию ему разрешалось составлять только Тати – она сидела в кресле у окна, потягивала вино и курила, изредка подкидывая на ладони монетку – медный пенс, память о Генерале. Потом он на несколько минут поднимался к Алине, чтобы пожелать ей спокойной ночи, и отправлялся к Нинон.

Нинон была по-прежнему крепкой и неунывающей женщиной. Узнав о том, что Борис придет к ужину, она бросалась в парикмахерскую, делала маникюр-педикюр, тщательно одевалась, а за столом то бледнела, то краснела, глядя на Бориса, словно ей было не за пятьдесят, а четырнадцать. В такие минуты она источала дразнящий запах, будораживший всех мужчин, оказавшихся за столом. Она любила Бориса до дрожи, до обожания. И как она гордилась своим животом, когда забеременела, как гордилась Ксенией...

Девочка выросла здоровой, яркой, неглупой – вся в мать. А вот сын Нинон – Митя – стал семейным проклятием: этот циничный смазливый парень с блатными повадками то и дело попадал в неприятности, из которых Тати и Борису приходилось его вытаскивать, и ненавидел всех – даже Алину, которую обеспечивал таблетками и время от времени «ублажал», как выражался Сирота.

Разумеется, Алина знала про Нинон и Ксению, но заговаривала об этом редко. Да и понять ее иногда было попросту невозможно: алкоголь и таблетки разрушали ее мозг. Целыми днями она лежала в постели, курила, смотрела телевизор, спала, выпивала, а то среди ночи бродила по дому в коротенькой ночной рубашке, декламируя монологи леди Макбет или, того хуже, Джульетты. Актриса из нее не получилась: читала она напыщенно, манерно, то подвывая, то самым пошлым образом переходя на шепот. Время от времени она спохватывалась, переставала пить, приводила себя в порядок и выходила к столу в каком-нибудь смелом наряде, демонстрируя коленки и плечи, которые когда-то были и впрямь хороши. В такие дни она становилась суетливой, слезливой и жалкой девочкой-старушкой, приставала к домашним, требуя внимания, и мне не всегда удавалось выпроводить ее из своей спальни. Но вскоре она снова возвращалась к алкоголю, таблеткам и телевизору.

Горше всего ей было сознавать, что она уже не принадлежит к тем женщинам, которых любит зеркало. Она завидовала твердому спокойствию Тати, неугасающей влюбленности Нинон, полудетскому обаянию Ксении, но особенно сильно она завидовала ослепительной красоте Лизы, которую называла «прекрасной гадюкой».

И хотя сказано это было в сердцах, доля правды в этих словах была. Лиза выросла дивной красавицей, но красавицей ядовитой. Она не верила, что мужчины, которые всегда увивались за ней, любят ее, а не ее деньги, о которых все шептались, и потому с наслажде-

нием унижала их, заставляя ползать на коленях и вымаливать прощение за несуществующие прегрешения.

Когда она шла по коридору, припадая на увечную ногу, извиваясь всем телом и постанывая от переполнявших ее чувств, казалось, что это не человеческое существо, а вставшая на хвост змея, готовая укусить любого, кто попытается помочь ей или хотя бы приблизиться. Высокая, тонкая, с длинной шеей и худенькими руками, она была воплощением боли, отчаяния и ненависти.

Впрочем, она никогда не нападала на Тати, Бориса и Илью: Тати была прирожденной дрессировщицей, Борис не обращал на нее внимания, а Илья, почуяв угрозу, хватал Лизу в охапку, рычал, кусал за ухо, кружил и убегал, послав на прощание воздушный поцелуй. Остальным же приходилось несладко. С особенным наслаждением Лиза измывалась над Лериком, который боялся ее и заискивал перед прекрасной гадюкой.

Лерик... ах, бедный Лерик... слабость его оказалась сильнее, чем мы ожидали... Он переходил из театра в театр, нигде подолгу не задерживаясь, виня в своих неудачах режиссеров, собратьев-актеров, гримеров, драматургов, кого угодно, но только не себя.

«Ничего, главная моя роль впереди, – бормотал он, выпивая в компании Сироты, постоянного своего собутыльника. – Вы еще увидите и услышите... все увидят и услышат... все...»

Тати любила его слепо, беззаветно, хотя многие считали, что Лерик не заслуживает такой любви: пьяница, лодырь, недотепа, размазня и посредственный актер. В сильном подпитии Лерик признавался, что лучшей ролью в его жизни была роль Петушка в детском спектакле, в финале которого он самозабвенно и звонко кричал «ку-ка-ре-ку», кричал так вдохновенно, так гениально, как ни до него, ни после не удавалось кричать никому на театре. А еще Лерик лет двадцать сочинял роман, который, как он уверял, обязательно перевернет русскую литературу и обессмертит имя автора.

Он был женат, и не раз, но, разумеется, неудачно.

Если его особенно сильно донимали упреками, Лерик прибегал к последнему и безотказному средству. Он закрывал глаза и говорил глухим голосом, как бы тщательно скрывая отчаяние: «Господи, на моих глазах отец застрелился, а вы...» Тарханов пустил себе пулю в рот, держа сына за руку, и о его *потной ледяной руке* Лерик мог рассказывать часами, заставляя слушателей не только прочувствовать весь ужас его жизни, но и искорчиться от стыда за рассказчика.

Не меньше беспокойства доставлял хозяйке дома Илья, сын Николаши и Алины. Высокий, синеглазый, легкий, веселый, этот шалый парень был всеобщим любимцем. Школу он окончил с золотой медалью, университет – с красным дипломом, но по специальности не работал ни дня. Борис устроил пасынка на необременительную должность в своей нефтяной компании, в управление международного сотрудничества. Хотя Тати никогда об этом не говорила, все считали, что ей хотелось бы женить Ильюшу на Лизе, чтобы деньги Генерала не ушли из семьи. Но Илья только смеялся, когда с ним заговаривали об этом. Он даже не пытался ухаживать за Лизой, а Ксению, у которой при встрече с ним шея покрывалась красными пятнами, а на глазах выступали слезы, вообще не воспринимал как женщину. Гоночные автомобили и мотоциклы, прыжки с водопадов, купание с крокодилами, русская рулетка – вот что влекло его неудержимо. Из поездок по стране и из-за границы он часто возвращался с переломанными руками, ногами, ребрами, в гипсе, в корсете, ходил по двору на костылях (и раскрасневшаяся от счастья Ксения с такой преданностью ухаживала за ним, что у Нинон разрывалось сердце), но стоило ему почувствовать себя лучше, как он снова принимался за свое.

Именно Илья и привез в дом на Жуковой Горе ту девушку – Ольгу Шварц, из-за которой жизнь Осорбиных за одну ночь перевернулась и изменилась самым неожиданным образом.

Это случилось вечером в воскресенье, когда Илья возвращался из Москвы. Его машину занесло на обледеневшей дороге метрах в трехстах от поворота на Жукову Гору, и он сбил девушку, которая шла по обочине. Илья вытащил девушку из сугроба, усадил в машину и привез в дом на холме. Девушка слегка прихрамывала, но не жаловалась: «Да ерунда! Подумаешь, синяк на жопе!» Одета она была не по-зимнему: на ней была короткая курточка, мини-юбка, чулки в крупную сетку и туфли на высоких каблуках. Она была грубо накрашена, пахло от нее пивом и дешевыми духами. Илья съездил за врачом, который не обнаружил у девушки ничего серьезного.

Она рассказала, что ехала с подружками на вечеринку, но по пути они переругались, она вышла из машины, заблудилась и вот попала сюда, в этот дом.

– Оставайтесь, – сказал Илья. – Переночуете у нас, а там видно будет.

Девушка кивнула и протянула руку:

– Ольга. По паспорту – Шварц, но я не еврейка, честное слово, это фамилия отчима.

Илья расхохотался.

Тем же вечером я и познакомился с Ольгой. А рано утром уехал в Москву. В те дни мы с Тати завершали работу над важным проектом – изданием полного собрания сочинений Николаши, Николая Осорьина. Его произведения издавались и раньше, и все уже привыкли к тому, что за свою короткую жизнь Николаша успел написать полтора десятка хороших рассказов и оставил после себя кипу черновиков и набросков. Но за год до описываемых событий Сирота обнаружил в комод, стоявшем на чердаке, несколько папок, в которых оказались две повести, пять рассказов, пьеса, несколько замечательных миниатюр – о существовании этого богатства никто и не подозревал.

Тогда же к Тати обратился издатель Иноземцев, рассказавший о странной женщине, которая принесла ему двести с лишним страниц прозы, принадлежавшей перу Николаши. Тати отправила меня к этой Ирине. Она оказалась любовницей Николаши. Эта одинокая дама, побитая жизнью, испитая и взбалмошная, больше двадцати лет хранила рукописи, с которыми готова была расстаться на определенных условиях. Переговоры с нею отнимали немало времени и сил: то она требовала несусветных денег, то хотела, чтобы книгу предварял очерк, в котором она собиралась рассказать о своих отношениях с Николашей – она называла его «возлюбленным», а то и вовсе несла вздор о сыне, прижитом от Николая, хотя ее ребенку было всего пять лет...

Тати участвовала только в составлении издательского договора, а вся подготовка четырехтомника к печати легла на меня: я вычитывал и сверял рукописи, держал корректуры, обсуждал с художниками макет, шрифты и обложку. Возвращаясь вечером на Жукову Гору, я докладывал хозяйке о работе, наскоро ужинал в кухне, заводил будильник и ложился спать.

Понятно, что Ольгу я видел мельком и о ее жизни в осорьинском доме знал мало. Но чувствовал: здесь происходит что-то необычное, непонятное, какие-то атмосферные изменения, вызванные – в этом не было сомнений – именно Ольгой Шварц.

Вернувшись поздно вечером в понедельник на Жукову Гору, я застал в гостиной веселую компанию: Борис наигрывал что-то джазовое на рояле, Илья разглагольствовал, разливая вино по бокалам, покрасневшийся Лерик пытался перекричать его, Лиза хохотала, откинувшись на спинку кресла, а Ольга в трусиках и лифчике изображала стриптизершу у шеста, то есть у метлы, принесенной Ксенией, – она тоже была там и не отрывала взгляда от Ольги.

В будние дни Борис, Илья и Лиза обычно ночевали в Москве, и нужны были веские причины, чтобы заставить их в понедельник вечером вернуться на Жукову Гору. Но это еще ничего, а вот Лиза – Лиза напугала меня по-настоящему: она и улыбалась-то редко, а хохочущей я не видел ее никогда.

Нинон я нашел в кухне. Она пила коньяк, мрачно уставившись в угол, и, пока я ужинал, не проронила ни слова. Такой мне еще не приходилось ее видеть.

– Ксения там? – вдруг спросила она, когда я уже собрался уходить.

– Там.

– Вот сучка, – сказала Нинон.

И я голову готов дать на отсечение, если сучкой она назвала свою дочь.

После ужина я рассказал Тати о том, что удалось сделать за день, но слушала она невнимательно, была рассеянна, стряхивала пепел на ковер, чего за ней никогда не водилось, и мне показалось, что левое веко у нее подергивается. Когда я спросил об Ольге, она небрежным тоном заметила, что когда-то таких называли девушками, которые не носят шляпы. Это было в те времена, со смехом сказал я, когда приличная девушка не могла сесть в кресло, с которого только что поднялся мужчина. Но Тати было не до шуток, и она сменила тему.

Ту ночь я провел в поселке.

Года за два до того я познакомился с Варварой, милой молодой женщиной, растившей в одиночку дочь. По субботам и воскресеньям, когда собиралось много гостей, Нинон звала ее на помощь: Варвара всегда нуждалась в деньгах. Она помогала готовить, убирать, была тихой, незаметной и вскоре стала почти что своей в осорьинском доме. Поздно вечером я провожал ее до дома, мы болтали о том о сем, потом я стал иногда оставаться у Варвары на ночь. Она была не прочь выйти за меня, а мне казалось, что лучшей жены я уже не найду, но поскольку и у Варвары, и у меня был опыт неудачной супружеской жизни, мы решили не торопить события.

Так вот, в ту ночь Варвара рассказала мне, что Ольга свела с ума весь осорьинский дом. Тати в растерянности, Нинон – в гневе: Ольга осмелилась кокетничать с ее Борисом, и тот, похоже, не остался равнодушен к «этой сучке». В первую же ночь она переспала с Ильей. А вдобавок ей удалось каким-то образом очаровать Лизу, что поразило всех, даже Сироту.

Вечером во вторник я ужинал в компании Сироты, и он рассказал о ссоре между Борисом и Ильей:

– Чуть до кулаков не дошло. И все из-за нее, из-за этой: не поделили.

– Она ничего, – сказал я. – Привлекательная.

Сирота оглянулся, лег грудью на стол и прошептал, дыша на меня перегаром:

– Двухсбруйная она, доктор...

– Лесбиянка?

– С Лизой у нее это... было у них, доктор... понимаешь?

Доктором в семье Осорьиных меня называли, разумеется, в шутку, в память о дедфельдшере, которого все на Жуковой Горе почтительно именовали доктором Постниковым.

Ночь со среды на четверг мне пришлось провести в Москве, а в ночь на пятницу я впервые лицом к лицу столкнулся с Ольгой.

Я вернулся на Жукову Гору за полночь. Не заходя к себе, пробрался в кухню и увидел Ольгу, сидевшую на высоком стуле у барной стойки, уставленной бутылками. Она выпила, закинув голову, и только после этого повернулась ко мне. На ней была шелковая маечка, едва доходившая до бедер.

– Доктор, – сказала она. – Выпьте со мной, доктор?

Не дожидаясь ответа, наполнила стаканы доверху водкой.

Я снял пальто и сел напротив. Отсюда я наконец-то мог хорошенько ее рассмотреть.

Нет, она не была красавицей: чуть приплюснутый нос, выступающая нижняя губа, раскосые глаза, слишком большая грудь и слишком широкие бедра. Тем не менее при взгляде на нее сразу возникала мысль об идеальной женщине. А главное – она была естественной. С первого взгляда было ясно, что красится она лет с двенадцати, знает, чем замазать синяк под глазом и что делать, если парень забыл о презервативе. И с первого звука было ясно, что

ее словарный запас, конечно, побольше, чем у беспризорника, но не богаче, чем у базарной торговли. Но она и не пыталась этого скрывать. Она вела себя так же естественно, как собака, грызущая кость. И вдобавок – вся она как будто светилась. Это дар Божий, дар природы, наследственность – как угодно, но ее тело светилось, взгляд завораживал, а голос вызывал дрожь.

– Как вам тут? – спросил я, чтобы разрядить затянувшуюся паузу.

– Как в сказке, – сказала она. – Страшно, как в сказке.

– Страшно?

– Ну не знаю... они все тут такие важные, а я кто? Нет никто и звать никак.

– Но почему страшно-то?

Она вздохнула.

– Войти-то я вошла, доктор, а как отсюда выйти – не знаю. Спокойной ночи.

Поцеловала меня в висок и вышла, обдав невероятным звериным запахом своего тела.

Я вспомнил эти ее слова, когда вечером в пятницу вернулся на Жукову Горю, толкнул дверь и увидел в холле Сироту, который тряс школьным колокольчиком, возвышаясь над голой и мертвой Ольгой, лежавшей ничком на полу.

В ту пятницу я наконец завершил дела, связанные с изданием четырехтомника Николая Осорьина, и возвращался на Жукову Горю с сигнальным экземпляром первого тома в портфеле.

Стояли сильные морозы, над Москвой поднимались густые столбы пара и дыма, фонари и звезды пылали каким-то особенно ярким светом.

Такси остановилось у въезда в поселок, и мне пришлось бежать вприпрыжку – в гору мимо черных домов, окруженных черными елями, по твердому, как асфальт, снегу, который на каждый шаг отзывался даже не скрипом – отчаянным писком.

Помню, я представлял себе, как обрадуется Тати и как мы с ней выпьем по такому случаю по рюмочке коньяку, который так хорошо согревает промерзшего мужчину...

И конечно же, я думал о Варваре: она была на девятом месяце. Получилось это случайно, но мы решили оставить ребенка. Варвара из суеверия боялась узнавать пол будущего младенца. На всякий случай мы заготовили два имени: если родится девочка, назовем Татьяной, а мальчик будет Семеном. Две недели назад мы подали заявление в ЗАГС и попросили отца Владимира обвенчать нас – в сельской Преображенской церкви, где венчались девять поколений Осорьиных.

Понятно, что задерживаться в доме на холме мне вовсе не хотелось.

Я с удовольствием потоптался на крыльце, сбивая снег с ботинок, толкнул дверь и замер, увидев голую и мертвую Ольгу, лежавшую на полу, пьяненького Сироту со школьным колокольчиком в руке, суровую Тати в бордовом халате, расшитом золотыми звездами, невозмутимого Бориса в распахнутой на груди белой рубашке, взволнованную Лизу в облегавшем платье с глубоким вырезом, растерянно улыбающегося Лерика с бакенбардами *mutton chops*, угрюмую Нинон с неразрушенной прической, в огненном халате, разошедшемся на груди, и снова Ольгу, лежавшую на полу с разметавшимися по плечам волосами, левая рука ее была сжата в кулак; и тут меня замутило, я понял, что сигнальный экземпляр никому здесь не интересен, и не будет рюмки коньяку, потому что на полу лежит голая и мертвая Ольга, все изменилось, изменилось бесповоротно, и, боже мой, подумал я, убийство в доме Осорьиных, боже мой, подумал я, и ведь не исключено, что убийца прячется где-то в доме или даже стоит здесь, в холле, и наконец я закрыл за собой дверь, и на улице что-то лопнуло с оглушительным звоном, и Лиза с отчаянным криком бросилась к Борису, он обнял ее за плечи, Лерик чертыхнулся, Тати нахмурилась, Нинон перекрестила свою прекрасную грудь...

– Похоже, это сосна, – сказал я.

– Сосна? – Тати нахмурилась. – Господи, какая еще сосна, доктор?

– От мороза сосна треснула, – сказал я. – Или береза. На улице минус тридцать.

– Надо же... – Лерик нервно хохотнул. – Сосна!..

Нинон вздохнула.

– Звонить? – спросила она.

– Нет, – сказала Тати будничным голосом. – Я хочу понять, что мы скажем обо всем этом чужим. Я хочу поговорить со всеми, с каждым. С каждым. Я должна понять, что произошло. А потом – потом будем звонить. В конце концов, если мы скажем, что нашли ее утром, это будет не такой уж большой ложью... Первый – Сирота. Через полчаса у меня. И вы, доктор, прошу вас...

Повернулась к Лерику.

– Сбрил бы ты эти свои бакенбарды, что ли. Ты с ними на какого-то мелкого жулика похож... или на кучера...

И ушла.

Никогда не вел я дневника, а записи, сделанные наспех тогда и отложенные в долгий ящик, превратились со временем в такие бессмысленные каракули, что при изложении событий той ночи мне приходится полагаться главным образом на свою память и воображение.

Тридцатиградусный мороз, сигнальный экземпляр, тело Ольги на черном мраморе, дикий звук лопнувшей сосны, вопль Лизы, прекрасная грудь Нинон, дурацкие бакенбарды Лерика – вот что сохранилось в памяти. И еще – слова Тати о чужих...

Тати не раз говорила, что знает обо всем, что происходит в доме, потому что дом и она – одно и то же. И при ее наблюдательности и умении задавать вопросы, думал я, установить имя убийцы будет не так уж трудно, если, конечно, это кто-то из обитателей осорьинского дома, а не посторонний человек. Хотя вряд ли убийцей был чужак. Ворота с кодовым замком, высокий забор, сигнализация... И потом, только свои знали о том, что мертвое тело могут долго не обнаружить: зимой холлом пользовались редко, он отделялся от гостиной и зала дубовыми дверями и плотными портьерами, а тем, кто приезжал на машинах, было проще пройти десять метров от гаража до черного входа, чем огибать дом.

Словом, все сходилось к тому, что убийца – либо кто-то из Осорьиных, либо кто-то из Татариновых. Единственным человеком вне подозрений был я. К такому же выводу наверняка придут и «чужие», то есть следователи милиции или прокуратуры, и, что бы ни сказала им Тати, что бы ни солгала, репутацию семьи ей спасти не удастся. Но репутацию ли она имела в виду? А если нет, то что? Тогда у меня не было ответа на этот вопрос.

Торопливо пережевывая холодное мясо и поглядывая на часы, висевшие на стене в кухне, я думал о том, что убийство Ольги – это какая-то страшная ошибка жизни, нелепая случайность. И вопрос «кому выгодно?» тут так же нелеп и бессмыслен, потому что ответ был очевиден: никому.

Ольга провела здесь всего пять дней, для Осорьиных она была экзотическим зверьком, игрушкой, забавой, а вовсе не роковой женщиной, из-за которой здесь могли бы разгореться страсти-мордасти. Допускаю, что она вполне могла вызвать в этом доме изменения атмосферные, но тектонические – нет, ни за что: слишком хорошо я знал Осорьиных, а они слишком хорошо знали черту, которую никто из них никогда не переступил бы.

Я поймал себя на том, что рассуждаю как персонаж детективного романа, и чертыхнулся. Ну конечно же, я люблю истории про сыщиков, но жить по законам детективного романа нормальный человек не может: каким бы характером ни наделял его автор и в какие бы обстоятельства ни ставил, персонаж неизбежно становится одномерным типом, который поглощен деталями, одержим плоскостопым морализаторством и склонен к паранойе. Хотя,

впрочем, с другой стороны – Эркюлю Пуаро было бы неуютно в «Преступлении и наказании», дочитай он его до конца.

Четыре комнаты, которые Тати занимала в первом этаже, Сирота почтительно называл Кабинетом, потому что слово «кабинет» казалось ему неподходящим для святилища.

Первой комнатой была приемная – маленькое помещение с двумя диванчиками, трапесканцией на подоконнике и напольными часами. Здесь хозяйка выдерживала провинившихся, и я помню, как не по себе становилось нам, детям, когда домоправительница Даша сурово приказывала: «А теперь – марш в кабинет, Тати там вас всех ждет не дождется», и мы рассаживались по диванам в ожидании вызова на суд и расправу.

В углу приемной на низком столике были расставлены бронзовые фигурки скачущих всадников – из-за них эта комнатка называлась в обиходе Конюшней. Фигурок было двенадцать. Это были легендарные всадники Осорьиных. По преданию, сыновья князя Никиты Осорьина поссорились из-за наследства, развязали войну и погибли в братской междоусобице. После этого старый князь с двенадцатью верными дружинниками удалился в лесной скит, где и умер от горя. Земли его отошли великому князю Московскому, а об Осорьине вскоре забыли. Однако спустя несколько лет, когда на Куликовом поле сошлись русские и татарские войска, осорьинские всадники вдруг появились в гуще битвы. Двенадцать исполненных всадников в черных одеждах, расшитых белыми крестами, бились с татарами яростно и бесстрашно, а когда Дмитрия Донского сбили с коня, образовали вокруг великого князя живое кольцо, защищая его от врагов. Когда же битва закончилась, всадники исчезли, и отыскать их так и не смогли. Эти же всадники в 1395 году спасли Россию от нашествия Тамерлана. После разорения Рязани Тамерлан с огромным войском двинулся на беззащитную Москву, но 26 августа неподалеку от Ельца увидел перед собой двенадцать всадников в черном, которые, как говорит предание, «со свирепым спокойствием» ждали приближения врага. Тамерлан «устрашился и приказал повернуть назад». Всадников Осорьина видели и на берегах Угры, где осенью 1480 года пало трехсотлетнее татарское иго, а в октябре 1552 года осорьинская черная дюжина первой ворвалась в осажденную Казань через Арские ворота, увлекая за собой русские полки. Если верить легенде, эти черные всадники появлялись на полях сражений в критическую минуту, когда судьба России висела на волоске, и воодушевляли русских своим примером. Их видели под Полтавой летом 1709 года и на Бородинском поле в 1812-м, а в последний раз они явились русским войскам поздней осенью 1941 года, когда немцы подошли к Москве так близко, что могли в бинокли разглядеть звезды на кремлевских башнях...

Бронзовые эти фигурки были отлиты самим Лансере, который поднес их своему другу князю Осорьину, деду Тати по отцу.

Собственно кабинет занимал вторую комнату, довольно большую, уютную, обставленную старинной мебелью, с фотографиями на стенах и картиной Тверитинова, на которой Тати была изображена в цветастом простецком сарафане с глубоким вырезом, в летней шляпке набекрень, с облупившимся носом, веселая, пьяненькая, со стаканом вина в руке и папироской в зубах. Портрет этот странным образом замечательно гармонировал с солидной мебелью, придавая чинной гармонии кабинета чуть фамильярный и иронический оттенок. Тут еще были просторный письменный стол с множеством ящиков, глубокие кожаные кресла, удобная оттоманка, на которой Тати любила валяться с каким-нибудь романом, курить, стряхивая пепел в вазу на высокой ножке, несколько книжных шкафов и буфет с напитками в графинах: хозяйка не любила бутылок с наклейками. Из кабинета можно было попасть в спальню, гардеробную и ванную, пропахшие табаком и гиацинтом.

Тати не держала фотографий на столе – они были развешаны по стенам: отец и мать в саду – оба в белом, оба в шляпах; отец в компании Сталина, Ворошилова и Тимошенко;

сестра Ирина, погибшая в авиакатастрофе над Сибирью; Тарханов в Гурзуфе – в расстегнутой на груди рубашке, смеющийся; генерал дядя Саша с тросточкой, в цилиндре и смокинге, с сигарой в зубах; двадцатилетний Николаша с льняными локонами до плеч; групповая фотография, сделанная на террасе: у ног Тати, сидящей в плетеном кресле, улеглись датские доги, слева на скамеечке пристроились Миньон и Мизер, на узком диванчике справа – пышная София Августа Фредерика фон Анхальт-Цербстская, гладкая Дуняша и взъерошенная Дереза, а вокруг дети – Борис, Николаша, я, Нинон, надутый Лерик и какая-то тощая высокая девочка в очках, имени которой никто не помнил, все ее называли Александром Исаичем, потому что она гостила в доме на холме в те же дни, что и Солженицын... Его портрет с дарственной надписью висел в углу, рядом с иконой...

Тати встретила меня во всеоружии – она приняла горячий душ, надела шемаханский темно-лиловый халат, расшитый серебряными звездами, подкрасила губы. Взмахнув широкими рукавами, она села в кресло, вставила сигарету в мундштук, пыхнула дымом, взяла чашку с серебряного подноса, пригубила кофе, провела кончиком языка по губам, сказала: «Все будут врать», – и кивнула Нинон, которая ждала у двери. Еще раз кивнула, приглашая меня занять обычное место – кресло у столика, примыкавшего к большому письменному столу.

– Что Варя? – спросила она.

– Ждем, – ответил я. – Врач сказал, недели через две-три...

– Хорошо.

Нинон впустила Сироту и закрыла дверь.

Тати велела налить старику коньяку и заговорила о доме: о металлочерепице, которой нужно бы заменить аспидную, о треснувшем и просевшем фундаменте, о яблонях у забора, которые вымерзли еще прошлой зимой, о флигеле, где настала пора перестилать полы...

От Сироты пахло водкой и потом, а еще обувным кремом: по случаю вызова в Кабинет старик надраил сапоги. Сирота знал Тати девочкой, но никто так ее не боялся, как он. Для него она была хозяйкой – только так он ее и называл, на вы: «Хозяйка сказали... хозяйка велели...» Когда Тати пришло время рожать, именно он, Сирота, на руках отнес ее к санитарной машине, ждавшей внизу, в поселке. Из-за проливных дождей дорога к осорьинскому дому стала непроезжей, все растерялись, и только Сирота сохранил присутствие духа. Он подхватил подвывающую от страха женщину на руки и двинулся вниз, дыша на Тати водкой, чесноком и дрянным табаком. Маленький, кривоногий, краснорожий, небритый, в кирзовых сапогах, он упрямо топал по раскисшей дороге, сморщившись, как от боли, и надсадно сопя, и Тати потом вспоминала, как боялась, что они упадут, но Сирота как-то умудрялся держаться на ногах, топал и топал, а потом подбежали санитары, подхватили Тати, уложили на носилки, и Сирота сказал: «Пехота не сдается», – и высморкался, и потом Тати вспоминала, что не было тогда для нее ничего восхитительнее во всем белом свете, чем запахи водки, чеснока и дрянного табака...

Тати говорила спокойным голосом, не торопясь, то и дело делая паузы, и Сирота вскоре успокоился, а после второго стакана коньяка стал подавать реплики. Ему не нравилась мысль о замене аспидной черепицы на «мертвечинскую», как он называл металлочерепицу, но с тем, что полы во флигеле пора менять, он был согласен. И вымерзшие яблони надо бы вырубить. И собак завести, потому что сигнализация – это всего-навсего железо, всего-навсего «ржавчина», а собака – это собака. Когда были живы Катон и Ганнибал, никакой чужак не осмелился бы проникнуть в дом и убить девчонку. Это ж надо такому случиться. Она, конечно, тут совсем чужая, но ведь и никакого вреда от нее не было. Что Борис и Илья из-за нее ссорились, так это ничего, мужское дело. Девчонка клейкая, а мужики – они как мухи. Как петухи. Ну не поделили, бывает. Она всем пыталась угодить – и Борису, и Илье, и,

кажется, Лерику. Даже Лизе. Женщинам это, конечно, не нравилось. Особенно Нинон. Она и не скрывала, что девчонка ей не нравится. А какой женщине понравится, когда у нее мужика из-под носа уводят? И Ксения – ей тоже не нравилось, что эта Ольга с Ильей разводит всякий шахер-махер. И с Митькой. Но Митька с ней не церемонился, он вообще с бабами не церемонится: раз, два и хенде хох. Он и этой Ольге сказал: я тебя, сучка, насквозь вижу. Только учти, говорит, тут тебе ничего не обломится. Ты, говорит, для них игрушка. Поиграют, бросят и забудут. Ты для них – инфузория. Они господа, баре, а ты – инфузория. Ты будешь всю жизнь у них полы мыть и детей от них рожать, а так и останешься – нет никто и звать никак. И твои дети – тоже. Они и при царях были господами, и при большевиках, и сейчас они – господа. Дурак он, Митька, заключил Сирота, глядя на пустой стакан. Дурак. А дураки мира не хотят – им счастья подавай.

Но это не они, сказал Сирота, когда я снова налил ему коньяку. Борису зачем ее убивать? Незачем. И Илье. И Лизе. Даже Нинон. Не такие они люди. Даже Митьке это не надо. Да его и не было тут, когда ее убили, Ольгу эту. Его весь день не было, только вечером вернулся.

– Я как раз на крыльце курил, – сказал Сирота, – когда он вернулся. В воротах чуть Лизу не сбил, зараза. Бросил машину у флигеля – и к себе. Сумку тащил...

– А Лиза? – спросила Тати.

– А что Лиза? – Сирота наконец отважился закурить. – Лиза ничего. Домой ушла. Счастливая такая. Улыбалась. Даже не поняла, что Митька ее чуть не сбил. Идет себе двором, улыбается, шуба распахнута... в туфельках... такой мороз, а она в одних туфельках... Я ей рукой помахал, а она и не заметила – ушла... ну я тогда тоже пошел домой, а там она...

– Ольга? – уточнил я.

– Она...

– А машина? – спросила Тати. – На которой Лиза приехала...

– Это Митька приехал, – сказал Сирота. – А Лиза – пешком. Никакой машины не было, кроме Митькиной. – Старик помолчал. – Жалко девчонку. Жила себе, жила – и вдруг на тебе. Как в телевизоре: раз – и убили. Сегодня в новостях показывали – банк ограбили. Налетели, постреляли, деньги схватили и сбежали, а человек убит. Охранник. Курил себе, кино смотрел, и вдруг – пуля... как на войне прямо... один убит, другой ранен...

Старик начинал клевать носом, и Тати отпустила его.

Значит, Сирота, который не любил сидеть в своей комнате, вышел после ужина прогуляться, выпил – тайнички с водкой были у него повсюду – и увидел Митю и Лизу.

В поведении Мити не было ничего необычного. Он с детства жил своей жизнью, в которую никого не пускал, держался особняком, избегал мальчишек из поселка. Единственный человек на Жуковой Горе, с которым Митя поддерживал отношения, был Каторжанин, старик Долотов. Никто не знал, как они познакомились и что между ними общего, но их часто видели вдвоем. Впереди брел огромный широкоплечий старик в просторном полотняном костюме, в тубетейке на бритой голове, с заложенными за спину руками, не глядя по сторонам, волоча за собой тяжелую тень, а за ним – тощий Митя, тоже в тубетейке, тоже с заложенными за спину руками. Иногда они сидели на скамейке у реки, под чудо-кленами, листья которых начинали желтеть и краснеть уже в середине лета. Но если Нинон спрашивала сына, о чем с ним разговаривал Каторжанин, Митя только пожимал плечами. После смерти Долотова Митя «сорвался с резьбы», как выразился Сирота. Несколько раз он попал в милицию за драки, по подозрению в грабежах и кражах, а дело об изнасиловании малолетней дурочки из Нижних Домов чуть не обернулось для него тюрьмой. Он ненавидел всех в доме, особенно брата Илью, который в драках всегда одерживал верх над Митей. Впрочем, Митя отказывался считать его братом. Молча выслушав очередную нотацию Нинон, он запирался в своей комнате, единственным украшением которой был подарок Каторжа-

нина – портрет Чернышевского, висевший на стене. После службы в армии Митя устроился автомехаником, стал неплохо зарабатывать, но вскоре поссорился с хозяином сервиса и уволился. Все понимали, что кончит Митя плохо, и радовались разве только тому, что он вдруг помирился с Ильей. В последнее время он работал в какой-то фирме, занимавшейся импортом одежды и обуви. Иногда он надолго пропадал, и никто не знал, где он был и что делал.

Не было ничего удивительного в том, что он поздно вернулся и сразу заперся у себя. А вот поздняя прогулка Лизы – случай экстраординарный. Она вообще не любила выходить за ворота: ее злили сострадательные взгляды прохожих. И для того чтобы выманить Лизу вечером на прогулку – в тридцатиградусный мороз, в легких туфельках на высоком каблуке, нужна была какая-то очень веская причина.

Мы предполагали, что убийство произошло вскоре после ужина. Митя отсутствовал дома весь день, и если это так, то к убийству Ольги он не причастен. Оставалось узнать, где в это время была Лиза и кто это мог бы подтвердить. И мотивы... Митя мог убить человека «по врожденной склонности», хотя одного этого, конечно, мало. А вот Лизу, какой бы гадюкой она ни казалась, я никак не мог представить в роли убийцы. Когда треснула со страшным звоном эта чертова сосна, Лиза с таким жалобным криком бросилась на грудь Борису...

– А вы знаете, доктор, что Сирота воевал в штрафбате? – спросила вдруг Тати. – Он никогда об этом не рассказывал, но я узнавала: убил жену за измену, попал в тюрьму, а оттуда – в штрафбат...

Тут мне следовало бы удивиться: все знали, что Сирота не способен и мухи обидеть, а он, оказывается, убийца, но вместо этого я рассмеялся – уж очень удачно реплика Тати соответствовала законам жанра, согласно которым «тень подозрения» должна быть брошена на всех персонажей детективной истории.

Тати с улыбкой откинулась на спинку кресла и сказала:

– Пора, наверное, звать Бориса.

Его никогда не называли уменьшительно-ласкательными именами, у него никогда не было прозвищ – все звали его только Борисом. В детстве он, как и Николаша, носил волосы до плеч и был похож на лорда Байрона, но в четырнадцать лет коротко постригся и с тех пор никогда не стремился выделиться среди сверстников внешностью. Тати говорила, что в Борисе есть божественная тяжесть, отличающая христианина от язычника, тяжесть, которой так не хватало Николаше – его Тати сравнивала с Эросом, богом отважным и бездомным.

Никого не удивляла дружба Бориса с дядей Сашей. Лерик ревновал его к генералу и часто вступал в их разговоры, пытаясь подавить брата эрудицией. Особенно раздражал Лерика консерватизм Бориса, странным образом совпадавший с традиционализмом советской власти, которая к тому времени уже забыла о своем родстве с левым авангардом.

А Борис дразнил Лерика: «С Малевичем и Родченко произошло то же, что и с Троцким, которого убила история, а не Сталин». Революция делается не для революционеров, а для народа, говорил Борис, и побеждает в истории не тот, кто умнее или талантливее, даже не тот, кто прав, а тот, кто нужнее. Сталинизм – идея власти, идея порядка – оказался нужнее, чем нигилизм и вечный бунт. Сталин оказался не только пастырем бытия, как Троцкий, но и господином сущего, и в этом и была его сила, сопоставимая с аморальной мощью самой истории. Отрицание сложившихся форм жизни, безродность, бездомность, роковая свобода – жить этим невозможно. Консерватизм напоминает о хрупкости мира и защищает те извечные рутинные основания бытия, которые позволяют людям жить и воспроизводить жизнь. Авангарду никогда не удастся сбросить Пушкина и Шекспира с корабля современности, сколько бы ни твердили авангардисты о смерти традиции. В традиции всегда есть то, что мертво, и то, что готово возродиться к новой жизни. Шекспир не мертв – сегодня он говорит с нами о другом, не о том, о чем говорил с нашими отцами, и говорит на языке,

которого мы пока, может быть, еще и не понимаем. Традиция жива и безжалостна к слабым дарованиям. Авангардисты оказались слабаками, они оказались бессильны перед тоталитаризмом, потому что не могли противопоставить ему ничего. Да, собственно, в каком-то смысле они, с их мечтами о новой человеческой расе, были химической частью тоталитаризма. Их искусство само по себе – ничто, оно не может существовать без приличного общества, которое позарез необходимо авангардистам, чтобы плевать кому-то в лицо. Они зависят от чужого лица – своего у них нет. Их искусство – всегда «вместо искусства». «Черный квадрат» мертв без иконы, которую он пытается заместить. Это бунт паразитов, бунт рабов – но не против рабства, а против царства. Если нет Шекспира, то все дозволено. Философия авангардизма построена на оскорблении и унижении других, а потому несовместима не только с жизнью презренного обывателя, но с жизнью вообще, с жизнью как таковой. И не случайно же самыми большими авангардистами и революционерами к концу двадцатого века стали буржуа, готовые выкладывать огромные деньги за искусство, оскорбляющее буржуа. Круг комфортабельного нигилизма замкнулся самым естественным образом: рабы, как известно, бессмертны.

– Значит, Панферов и Налбандян? – ядовитым голосом спросил Лерик.

– Значит, Рафаэль и Пушкин, – с холодной улыбкой возразил Борис. – И Эндрю Ньюэлл Уайет, пророк их на земле.

– Твоя любовь к власти была бы аморальной, если бы не была такой естественной, – съязвил Лерик.

Борис только улыбнулся в ответ.

Сколько нам тогда было? Восемнадцать, девятнадцать, может быть, двадцать...

Дело было в гостиной, Борис сидел за роялем и аккомпанировал своим словам, перебирая клавиши, Лерик слушал его, развалившись на диване и презрительно улыбаясь портрету князя Осорьина, который стоял на поле Аустерлица со шпагой в правой руке. Дядя Саша потягивал виски, попыхивая сигарой и с улыбкой прислушиваясь к сумбурным речам Бориса; Тати поглядывала на племянников поверх книги – она в десятый, наверное, раз перечитывала «Le côté de Guermantes»; Николаша шептал что-то на ухо раскрасневшейся Нинон; в кресле у камина постукивала коклюшками Даша...

Я сидел в углу и читал запретного Адамовича:

Когда мы в Россию вернемся...
о, Гамлет восточный, когда? —
Пешком, по размытым дорогам,
в стоградусные холода,
Без всяких коней и триумфов,
без всяких там кликов, пешком,
Но только наверное знать бы,
что вовремя мы добредем...

За окнами бесновалась метель...

Борис побрился, надел домашнюю куртку с атласными лацканами и коротковатыми рукавами, из которых выглядывали манжеты белой рубашки с крупными запонками. От коньяка и кофе он отказался: «Весь день только и делал, что пил».

Сначала пил во время делового обеда, потом на приеме в польском посольстве, а вечером за ужином с Катиш – она была известной актрисой и официальной любовницей Бориса – выпил полбутылки кьянти. Вернулся в начале десятого, перекусил в кухне бутербродами, выпил рюмку водки, поболтал с Нинон. Домоправительница жаловалась на Илью, который

морочит голову бедняжке Ксении, а та, дурочка, и рада: верит каждому его слову, хоть и знает, что он пришел к ней из чужой постели...

Тати молчала.

Борис закурил – я залюбовался его красивыми руками и артистичными движениями: открыл портсигар, взял сигарету, щелкнул зажигалкой, выпустил дым, убрал портсигар в карман, закинул ногу на ногу.

– Ее убил кто-то из своих, – сказал он. – Она хотела всем понравиться, пыталась соблазнить всех – меня, Илью, Лерика, доктора, Лизу, Алину, Ксению, Митю... Кажется, и тебя тоже?

Вопрос его был адресован Тати.

Тати не ответила.

– Она мыла ноги Сироте, – продолжал Борис. – Как-то среди ночи я спустился в кухню, они были там. Сирота сидел на стуле, поставив ноги в таз с горячей водой, а Ольга массирувала его лодыжки. Она сидела перед ним на корточках, полуголая, и массировала его лодыжки...

У меня мурашки пробежали по спине, когда я представил себе эту сцену.

– Похоже, ей не удалось соблазнить только Нинон...

– Из-за чего ты поссорился с Ильей? – спросила Тати.

– Не из-за Ольги, – сказал Борис. – Из-за Ксении.

– Из-за Ксении, – задумчиво повторила Тати.

– Кажется, Илья заигрался, дошел до той точки, когда надо сказать девочке, что между ними ничего не было, нет и не может быть. Ксении семнадцать – она это переживет. – Борис поморщился. – Все-таки они брат и сестра... хоть и двоюродные...

Тати кивнула.

– Значит, не из-за Ольги...

– Вчера вечером я с ней разговаривал, – сказал Борис. – Сказал, что она загостилась тут. Пора и честь знать. Я сказал, что мы не против посторонних людей, мы даже не против чужих – мы против людей случайных. Предложил помощь... речь шла о деньгах, конечно... Она все поняла и согласилась. Во всяком случае, мне так показалось. Она сказала, что хотела бы остаться до воскресенья. Три дня. Я не стал возражать.

– Почему она поругалась с Алиной?

Борис пожал плечами.

– Я видел их целующимися, а чтобы ругались... впервые слышу...

– Она швырнула в Ольгу синюю вазу... откуда только сила взялась... я помню, как пыхтели рабочие, когда переносили ее в гостиную... втроем тащили... – Тати помолчала. – Она спит?

Борис кивнул.

– Когда-нибудь все равно придется...

– Не сейчас, – сказал Борис.

Тати вздохнула: племянник уже который год откладывал развод с женой, проявляя совершенно не свойственную ему и необъяснимую нерешительность.

Она сменила тему и заговорила о доме. Борис был против частичных ремонтов – он считал, что дом надо реставрировать и реконструировать: «Хватит затыкать дырки и латать прорехи. Нужен капитальный ремонт, а не починка подтекающих кранов». Он даже заказал проект реставрации главного здания и флигеля – речь шла о миллионах долларов – и готов был оплатить работу из своего кармана. Но для этого всей семье пришлось бы на несколько месяцев переехать в московские квартиры – сама эта мысль казалась Тати чуть ли не кошмарной. Ну и, разумеется, пришлось бы вывезти мебель, картины, бумаги, посуду, все те мелочи, которые кажутся нужными здесь, в этом доме, и тотчас утратят всякий смысл, пре-

вратятся в мусор, как только их вынесут за порог. Как-то Тати сказала, что ей дороги все эти глупые безделушки, все эти тени, звуки, запахи, призраки – дух дома, которого не вернуть, когда рабочие починят лестницу, ведущую наверх, и заменят седьмую ступеньку, больше ста лет отзывающуюся невыносимым скрипом, но без этого невыносимого скрипа невозможно представить себе дом, и как жить без этого невыносимого скрипа – Тати не представляла себе...

Борис встал, сунул руку в карман куртки.

– Это было у нее в руке. – Он протянул что-то Тати. – В левой руке.

Это был перстень, снятый с руки князя Осорьина, казненного Иваном Грозным. Этот перстень привез из Константинополя один из полуполюгендарных предков Осорьиных, который состоял в свите княгини Ольги и был крещен вместе с нею. По преданию, перстень был подарен Осорьину императором Константином Багрянородным. Ценностью он обладал скорее исторической, чем эстетической, но для Тати это грубоватое золотое изделие было частью того «невыносимого скрипа», без которого жизнь утрачивает смысл, поэтому я и не удивился, когда она подняла голову и, глядя на меня в упор, проговорила сквозь зубы:

– А вот за это и я могла бы убить...

Резко встала и вышла в спальню.

Однажды Тати сказала, что она знает обо всем, что происходит в доме, а Нинон – обо всем, что происходит в доме на самом деле. Нинон никогда не подслушивала и не подглядывала: простыни, полотенца, носовые платки, халаты, манжеты и воротники рубашек, бокалы с остатками вина или окурки в пепельнице часто бывают болтливее и красноречивее людей. Если Тати была осью осорьинского мира, то Нинон – главным колесом, приводившим в движение осорьинский механизм, воплощением порядка, его знаменем и оградой. Статная, спокойная и твердая, она никогда не повышала голос, но всегда добивалась своего, умудряясь при этом держаться в тени. В юности она влюбилась без памяти в Николашу, а счастье нашла в любви к Борису, хотя и знала о его любовницах, официальных и неофициальных. Она презирала Алину, но и жалела несчастную алкоголичку, и случалось, что ночами просиживала у ее постели, когда Алина приходила в себя после очередной попытки самоубийства: несколько раз жена Бориса пыталась покончить с собой, перерезая вены на руке, но ее успевали спасти. Нинон была наследственным членом семьи, хранительницей ее тайн, «идеальной рабыней», как однажды с презрением выразился Митя, а Тати как-то назвала ее «сестрой». Для яда и меда осорьинской жизни она была таким же сосудом, что и сами Осорьины.

Лишь однажды преданность Нинон была поколеблена, и Осорьины тогда чуть не лишились домоправительницы. Это случилось года через три-четыре после того, как Нинон родила Ксению, а Борис запутался в любовницах. В больнице, куда она попала с аппендицитом, Нинон познакомилась с доктором Паутовым, могучим красавцем и вдовцом. Он стал бывать в Доме двенадцати всадников и вскоре сделал Нинон предложение. И она ответила согласием, решив, как сказала потом язвительная Тати, свить свое гнездо, а не ухаживать всю жизнь за чужим. Но тут доктора Паутова отправили в Чечню, где он на третий день и погиб, и Нинон вернулась к своим обязанностям в осорьинском доме. Борис порвал со всеми любовницами, и на несколько лет Нинон стала его единственной женщиной.

Тати вернулась в кабинет посвежевшая, умиротворенная, опустилась в кресло.

– Значит, она успела и вас соблазнить, доктор...

– Не успела, – сказал я. – Времени не хватило.

Она вставила сигарету в мундштук, прикурила и проговорила:

– Не был он у Катиш: она вот уже недели две гостит у Лаврушки. Я вчера с ней разговаривала.

Речь шла, конечно, о Борисе.

Лаврушкой друзья звали прабабушку Катиш – Лауру Сергеевну Кутепову, в девичестве ди Стефано Нели, вдову известного советского физика-ядерщика, с которым дружил отец Тати – Дмитрий Николаевич. В последние годы Лаврушка жила неподалеку от Флоренции, в деревушке, где были похоронены семнадцать поколений ее предков, и иногда звонила Тати.

– И ведь он знает, что я это знаю, – Тати скривилась, отхлебнув из чашки. – Надо сказать Нинон, чтоб заварила свежего...

Я открыл дверь в Конюшню и чуть не столкнулся с Нинон, которая держала в руках поднос с кофейником. Она прошла в кабинет, обдав меня запахом свежего тела, налила в чашки кофе, села на стул у окна – Нинон никогда не садилась в кресла – и сказала:

– После ужина я ее не видела.

– Ты ведь не сразу пошла к себе...

– Перемыли посуду, приготовили белье для отправки в прачечную, а потом я проводила Варвару до дома... хотелось подышать свежим воздухом... Когда я вернулась, Борис ужинал в кухне, мы поболтали...

– Он приехал на машине или пришел пешком?

Нинон не удивилась вопросу.

– На машине. Я заглянула в гараж... его машина была там, и капот еще не остыл...

Тати выжидательно молчала.

– У него появилась новая женщина, – бесстрастным тоном продолжала Нинон. – Варвара сказала, что он снял дом в поселке... в самом низу, у ограды...

– И кто она?

– Вы же видели, как она бросилась ему на грудь... все видели...

Она говорила о Лизе, конечно, о немой сцене в прихожей, где Осорьины собрались вокруг тела Ольги. Испугавшись внезапного звука лопнувшей на морозе сосны, Лиза с жалобным криком бросилась Борису на грудь. Она пропустила ужин. Сирота видел ее, когда Лиза возвращалась домой – в шубе нараспашку, в легких туфельках на каблуках. Похоже, Нинон считала, что Борис снял квартиру в Нижних Домах, чтобы встречаться с Лизой. Но если уж он не хотел, чтобы об этой связи узнала Тати, которая, как многие думали, хотела выдать Лизу за Илью, то в Москве у Бориса была роскошная квартира, которая пустовала неделями и идеально подходила для свиданий. Зачем же встречаться здесь, в поселке, где Бориса знает каждая собака? И потом, Лиза совсем не в его вкусе: все женщины Бориса, которых я видел, были сильными здоровыми самками вроде Нинон.

– Нет, – сказала Тати, – Борис не позволил бы женщине возвращаться домой по такому морозу в туфельках. Сам на машине, а она пешком? Нет.

– Но дом арендовал он...

Тати посмотрела на меня.

– Варя ничего мне об этом не говорила, – сказал я.

– Нет, – повторила Тати, стукнув дном чашки о поднос. – Не знаю, смог ли бы он убить, но бросить женщину на морозе – нет, не мог.

Я с трудом удержался от улыбки.

Нинон промолчала.

– Ну хорошо, – сказала Тати. – А дальше? Ты поболтала в кухне с Борисом, а потом?

– Заглянула к Лерику... иногда по вечерам я захожу к нему, и мы разговариваем... ему не с кем поговорить, Тати...

– Поговорить?

Нинон кивнула.

– Он ведь из-за этой девчонки совсем с ума сошел... понапридумывал себе... – Нинон тяжело вздохнула. – Господи, он сказал, что любит ее... плакал...

Тати мрачно молчала.

– Жалко его, Тати, – сказала Нинон. – Он всегда один. Как это получилось? Почему? В детстве – один, одна жена, другая, третья – а он все равно один... все его не понимают, все его обижают, никто его не ценит... в Бога он не верит, с людьми не сходится... так ведь и до беды недалеко... выдумает что-нибудь и такое сделает, что боже мой... а остановить некому... ты же сама говорила, что одинокий человек открыт злу... а Лерик – выдумщик, ты сама знаешь, страшный выдумщик... помнишь, как он выдумал, будто на него бандиты напали? Никто ведь не нападал, и никто ему не верил, все смеялись, он от обиды взял и ножом себя пырнул, а потом говорил, что это бандиты сделали...

Я помнил эту историю: Лерику всегда хотелось внимания.

– Беда с ним давно случилась, – пробормотала Тати. – Я уже устала думать, в чем виновата я, а в чем – не я...

– Сам он виноват, – сказала Нинон. – Вот и сейчас – выдумал себе про эту Ольгу: она моя единственная, она моя настоящая, она моя последняя... Я чуть не разревелась, слушая его. Да на эту девку только посмотришь – и все сразу ясно. Она ж любого с костями сожрет и не подавится. Ее в землю закопай – она станет покойников жрать. А он говорит: женюсь...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.